Война. Блокада: Пулково

21 июня 1941 года, в субботу, на историческом факультете Ленинградского университета защищалась диссертация (кажется, И.Г.Гуткиной). Прошла она гладко, спокойно и закончилась рано, что было весьма кстати, — вечером предстояло идти в театр. В Выборгском доме культуры (на Ломанском переулке) шли тогда гастроли московского Камерного театра. Давали «Адриенну Лекуврер» с Алисой Коонен в главной роли.

Спектакль закончился рано, что-то около половины одиннадцатого. На улице светло, как днем. Небо ясное, тепло... Разгар белых ночей. Несколько знакомых, с которыми встретился в театре, захотели пойти пешком. Пошел и я с ними. Дошли до Литейного моста, — решили не садиться в душный трамвай и двинулись дальше. С моста открывался вид на Выборгскую сторону, купол тюремной церкви в «Крестах», трубы заводские... Низкое вытянутое здание Медицинской академии и красноватый кирпич Пироговского музея (на месте которого сейчас торчит, как непомерно выросший зуб, высотная гостиница)... Впереди мрачный четырехугольник «Большого дома»... Вдали — другой мост и силуэт Петропавловской крепости.

Пройдя мост, не торопясь шли по Литейному проспекту (он еще назывался проспектом Володарского).

Разговариваю с Аллой Чистяковой, вспоминаем ее приезд в Ленинград из Ярославля, неудачное замужество и первого ее мужа — Мишу Гурари, исчезнувшего в 1937 году. Узнаю, что она и Левин (ее второй муж) собираются ехать по Волге. Не поеду ли я с ними? Почти соглашаюсь, и даже обсуждаем какие-то детали...

Расстаемся на углу Невского и Литейного проспектов.

— Итак, договорились, — говорит Алла, — в начале июля едем.

Вскакиваю в трамвай, идущий в сторону Васильевского острова.

В воскресенье просыпаюсь позднее обычного. Дома еще утренний разгром.

Отец включает радио... Из черной тарелки — голос заикающегося Молотова... Война... Нападение Германии... Наше дело правое... Победа будет за нами...

Недавно, в сентябре 1939 года на Витебском (тогда Детскосельском) вокзале мы встречали поезд из Днепропетровска, с которым приезжала мама... По радио передавали о боях в Польше, о пожаре Варшавы... Сейчас война докатилась до нас...

Выбегаю на улицу. Везде множество людей. В магазинах толкучка. Покупаю два электрических фонарика, — ведь будет затемнение.

А вечером по небу сверкающие полосы — это рыщут прожекторы. Не помню уж, была ли в эту первую ночь войны воздушная тревога, выли ли сирены?..

Все было как-то внове, непривычно, а главное — как будто не всерьез.

В университете введены круглосуточные дежурства преподавателей, служащих, студентов. Созданы пожарные команды для борьбы с зажигательными бомбами... В такой команде и я, а также Брюнин (наш доцент), Таня Скворцова (аспирантка) и несколько студентов. Ходим по чердаку исторического факультета, вылезаем время от времени на крышу и греемся на нагретой солнцем жести.

Так летят дни, ночи...

Когда подходит к концу ночное дежурство, ранним утром, часу в шестом, иду на набережную Невы, где у здания Академии наук висит тарелка громкоговорителя и можно послушать последние известия, сводку с театра военных действий. Новости не веселят, хотя все, что происходит, кажется еще далеким...

Каждое утро сюда приходит небольшого роста старик с мужицким некрасивым лицом и острыми умными глазами. На нем темная толстовка, голову прикрывает не то тюбетейка, не то ермолка, на ногах домашние мягкие туфли. Он садится на скамейку, выслушивает известия, говорит несколько фраз и уходит. Это академик А.Н.Крылов, известный кораблестроитель.

Дни бегут за днями. В университете обычные занятия, вернее не совсем обычные — целый курс выпускается досрочно. Консультации, зачеты, экзамены...

И снова дежурства на крыше истфака или — в дождливый день — в факультетском вестибюле.

Речь Сталина 3 июля слушал во время дежурства, в университете. «Братья и сестры... К вам обращаюсь...» Слышно было, как булькает вода, наливаемая в стакан, и как дробно стучат зубы о стекло стакана...

После этой речи началась полоса добровольного записывания в истребительные батальоны, в ополчение...

На четырехугольном факультетском дворе, в переулке, под арками здания (бывших Козухинских артелей) стоят и, так сказать, обучаются военному делу небольшие группы. Обучение сводится к шагистике, построению, перестроению.

«Смирно! Направо!.. Налево!.. Ряды сдвой!.. Шагом марш!..»

Наша шеренга — человек десять-двенадцать — тоже шагает налево, направо, поворачивается кругом. Командует маленький некрасивый человек, с не по росту зычным голосом. Это Матвей Александрович Гуковский. Он чрезвычайно активен и воинственен. Выделяются и другие «командиры» — Владимир Овсянкин, например.

Как правило, военная карьера этих людей на том и завершилась. Они вскоре отбыли с университетом в Саратов. Правда, до эвакуации университета были еще оборонные работы.

Помнится, поздней осенью, в октябре или в начале ноября, — я был уже в армии, — будучи в городе, заглянул на факультет. Военное обучение все еще продолжалось. Появился какой-то новый реквизит, например, деревянные ручные гранаты. Своих недавних сослуживцев застал я в садике, что за главным зданием университета. Они, укрываясь в земляных щелях, вырытых на случай воздушной тревоги еще летом, бросали оттуда свои деревяшки. Лучше всех и дальше всех кидал «гранату» Владимир Овсянкин. Мне рассказали — с его слов, но не он сам, — что на оборонных работах ему пришлось отбиваться гранатами от прорвавшихся немцев. По-видимому, это, как говаривал булгаковский герой, случай так называемого вранья.

Но вернемся к началу июля, когда в аудиториях шла запись добровольцев. Там толпились преимущественно студенты. Были и преподаватели. Евдокия Марковна Косачевская, Дуся — морганатическая супруга ректора — горячо убеждала, призывала сражаться за Родину. Возможно, как у нас принято, были и какие-то контрольные цифры, соцобязательства, которые надо было выполнять. Впрочем, Косачевская исполняла эту миссию с энтузиазмом и достаточно искренне, внося, как и другие, свою долю в защиту Отечества.

Я записался куда-то — уже не помню точно, как назывался тот отряд, — и затем несколько суток провел в здании Академии художеств, где в комнатах первого этажа соорудили нары и создали что-то вроде временных казарм. Потом, как и многие другие преподаватели, вернулся на факультет, не став военным. Не помню уж почему, но не попал ни в какой истребительный отряд...

Рассказывают, что доцент наш Сладкевич Наум Григорьевич, Нёма в просторечьи, отказывался записаться добровольцем в истребительный батальон, несмотря на нажим. Он выдвигал убедительный довод: «Там нужны люди смелые, а я... трус, мне там не место...»

В июле и августе ездил со всеми на оборонные работы. Там рыли противотанковые рвы, делали насыпи, устанавливали надолбы. Более всего запомнились работы, которые производились под Лугой (где-то в районе Толмачево). Начальником нашей колонны был назначен от партийной организации университета Александр Васильевич Федоров, и на вторых ролях — Биллик (он был, вероятно, комсоргом). А.В.Федоров, высокий, с бледным, довольно красивым, хотя и холодно-неприятным лицом, достаточно бесцветным, с мягкими, порою даже вкрадчивыми речами и манерами... Он еще учился в аспирантуре истфака. Дальнейшая его судьба весьма любопытна. Во время блокады он сделал партийную карьеру — работал в аппарате Смольного, где ведал каким-то отделом (кажется, тем, который распоряжался издательскими делами), распределял бумагу и т.п. Был, конечно, сыт, стал благообразнее прежнего и в лице появилась благостность. Затем, уже после войны, защитил диссертацию — докторскую, которая оказалась плагиатом (об этом были даже статьи в «Известиях», — П.А.Зайончковского). Но с Федорова как с гуся вода. Не пострадал новый доктор исторических наук и после того, как растлил несовершеннолетнюю дочь преподавателя истфака и своего приятеля Сироты. Девица была, говорят, достаточно бойка, но еще школьница пятнадцати лет или около того. Все закончилось тем, что Федоров переехал в Москву с повышением, где и процветал до своей довольно ранней

смерти несколько лет спустя, не страдая, по-видимому, ни от собственных угрызений совести, ни от каких-либо внешних неприятностей.

Вернемся к июлю—августу 1941 года. Когда мы завершали рытье противотанкового рва где-то под Лугой, немцы приблизились к Ленинграду. В эти дни — как стало ясно позднее — уже начались ожесточенные бои за Лужский оборонительный рубеж. Над работающими все чаще летали вражеские самолеты, иногда проносясь на бреющем полете, но не стреляли. Разбрасывали листовки (одна из них — о сыне Сталина, взятом в плен). Слышна была артиллерийская стрельба.

Приказано было срочно свернуть работы и возвратиться в Ленинград. Обстановка сложилась напряженная и не способствовала порядку. Шелестели разные слухи. Стало возникать нечто вроде панических настроений. Все это могло привести к печальным результатам. К тому же наш «главный начальник», А.В.Федоров, оказался не в силах организовать людей и, хотя он был тезкой Суворова, но особой смелостью не отличался. В его голосе, распоряжениях, действиях не было уверенности, что передавалось другим. Ходячие фразы из газетных передовиц, которыми он оперировал, только раздражали, — его не слушались. И как-то получилось, — уж не знаю как, но получилось, — что явочным порядком я, в первый (и добавлю — в последний) раз, неожиданно для себя самого проявил инициативу и каким-то образом заставил себя слушаться. При содействии нескольких человек, превратившихся таким же явочным порядком в помощников, довольно быстро удалось построить колонну, и мы двинулись к станции, куда и подошли к вечеру. Уже темнело. Станция была переполнена. Люди расположились на поле, в ближнем лесочке, на пригорке. Все они были весьма удобной мишенью для немецких самолетов, которые то и дело появлялись в воздухе. Они летали вполне безнаказанно, и наших самолетов не было видно. Пушки стали слышнее.

Ко мне все обращались как к начальнику, руководителю. Я вел переговоры с железнодорожным и военным начальством.

Прошло несколько часов, и лишь поздно ночью, после неоднократных просьб, настояний, удалось добиться эшелона и покинуть опасную станцию. Позднее, сопоставляя время, место, обстановку, стало понятным, что мы были недалеки от катастрофы.

До сих пор не могу понять, как это все получилось.

Были и другие работы по строительству оборонительных рубежей. Они проводились уже поближе к Ленинграду и прошли спокойно. В памяти остались только толпы людей, с лопатами, кирками, носилками, копошащихся в изрытой земле, — студенты, аспиранты, преподаватели... Многие, вероятно, думали о неразумности такого использования людей, а профессор А.И.Молок говорил простодушно вслух: «Посылать меня рыть землю — все равно что колоть орехи золотыми часами!».

...Увы, оборонительная линия (или линии?), созданная наспех с таким напряжением сил, не сделалась непроходимой преградой для немецких войск и фактически не сыграла предназначенной ей роли. Более того, противотанковые рвы в дальнейшем пришлось преодолевать нашим солдатам, и рвы эти порою становились большой братской могилой.

Столь прославившееся народное ополчение было затеяно не от хорошей жизни. Оно по сути своей оказалось слишком дорогостоящей мерой. Неопытные, не проходившие военного обучения, недостаточно вооруженные люди были брошены в огонь и в большинстве своем погибли. Вышла какая-то новая — случайная или произвольная? — чистка города Ленинграда от интеллигенции, многие представители которой могли бы быть использованы разумнее, с большей пользой для страны. Конечно, ополчение сыграло неизмеримо меньшую роль, чем можно было предполагать, да и немцев не могло надолго это обмануть. Педантичное мышление немецкого командования, конечно, вначале могло смутить известие, что в Ленинграде сформировано 6 дивизий народного ополчения. Но они понимали, что дивизии эти недостаточно боеспособны, и, вероятно, каждую из них можно приравнять к полку, не больше. Дивизии эти оказались еще слабее. Вскоре все они — или вернее, то, что от них осталось — были преобразованы в регулярные армейские части.

Важную роль сыграло сопротивление под Лугой, заставившее немцев задержать продвижение, подтянуть подкрепления, технику, и это дало выигрыш времени. В этих боях основной силой были не ополченцы, хотя и гибли они там тысячами.

Первого сентября получил я повестку в военкомат. В тот же день явился и вышел из военкомата с направлением во 2-й стрелковый полк 6-й дивизии народного ополчения, где должен был быть переводчиком. Как это ни странно, но для меня назначение не было неожиданным. Почему-то часто исполнялось то, о чем думал. Я был уверен в предстоящей армейской службе, а после беседы с Валей Холмогоровым — именно в том, что буду переводчиком, хотя и недостаточно знал язык. Между прочим, о Вале Холмогорове. Он прекрасно знал немецкий язык и был очень нужен в армии. Он даже предлагал свои услуги, но его не приняли, — он сидел когда-то, ему, значит, не доверяли. Итог: лишились нужного человека, а для него это была гибель. Он умер во время блокады.

Итак, со 2 сентября 1941 года началась моя военная служба. Шестая дивизия формировалась в Октябрьском районе, мой 2-й полк — в здании на углу Садовой и Вознесенского проспекта (ныне Майорова).

Первым моим учителем в новом военном состоянии оказался капитан Морозов. Войдя, я обратился к нему: «Товарищ Морозов!» и получил в ответ: «Капитан, а не товарищ!». Довольно долго не мог привыкнуть к тому, что надо обращаться по званию и отвечать тоже не как было привычно. Постепенно привык, и все стало, как будто всегда так и было.

Непонимание нового моего состояния привело к инциденту.

После экипировки, облачившись в гимнастерку и в сапоги, надев пилотку, украсив воротник двумя кубиками, я ушел из казармы (это разрешалось) побродить по городу. Но не взял с собой никаких документов. Когда я с приятелем и еще с кем-то вышел из дому и проходил садик на углу Геслеровского проспекта и Зелениной улицы, то был задержан патрулем и доставлен в городскую комендатуру. Там было много людей. Выделялись те, кто, как они говорили, выходил из окружения, — обстрелянные, усталые... Их допрашивали особенно упорно. Меня — и мне подобных — справившись

по телефону, скоро отпустили, предварительно пожурив.

Почти две недели шло формирование трех полков и других подразделений 6-й дивизии народного ополчения.

Помнится, не то 7-го, не то 8-го сентября первая бомбежка, которую видели из окна дома на проспекте Майорова... Неожиданно все началось, еще был не поздний вечер. Взрывы. Частый огонь — чуть запоздалый — зениток... Непривычное еще ухо плохо отличало звуки взрывов от хлопанья зенитных орудий. Стали видны клубы черного дыма (горели какие-то масла), заволокшие небо со стороны Нарвского района. Когда стемнело, появилось огромное зарево. Тогда же записал: «Люди на улицах, бойцы... Сердце сжималось: так вот она, бомбежка. Но еще не представлял себе, что будет. Все одновременно казалось проще и как-то страшнее...»

16 сентября выступили из Ленинграда. В последующие недели размещались на территории нынешнего Купчинского района, тогда деревни Купчино. Части дивизии расположились от станции Сортировочная (Октябрьской железной дороги) до еврейского Преображенского кладбища. Отдельные части несколько раз перемещались, но все в тех же пределах.

Наконец, вышли под Шушары, где в начале декабря некоторые подразделения дивизии участвовали в боевых действиях. К этому времени мы уже не были ополченцами. Все дивизии народного ополчения были переименованы. Мы стали 189-й стрелковой дивизией, а наш полк — 880-м стрелковым полком. Прибывали пополнения, тоже из ленинградцев, но уже не добровольцев, а мобилизованных.

К концу декабря 1941 года нас перебросили в Пулково, где у знаменитых Пулковских высот суждено было пробыть без перерыва до начала января 1943 года, т.е. более четырнадцати месяцев.

Кто не вел на войне записей, пусть самых кратких, отрывочных... В особенности, если война неподвижная, позиционная, создававшая нечто вроде оседлой жизни на линии обороны, что давало возможность писать (при желании, конечно).

У меня тоже сохранились две записные книжечки с небольшими, выцветшими страничками и порою такими размытыми водою записями, что их нельзя прочитать. Но многое цело и напоминает о том, что забывается, хотя кажется, события — каких забыть нельзя. Начинаются записи заметкой, сделанной 20 декабря 1941 года, — днем, когда мы прибыли под Пулково.

«Последний раз я был в Пулковской обсерватории лет восемнадцать тому назад, году в 1923 или 1924-м. На майские дни приехал из Москвы мой могилевский приятель Саша Бутковский, и это была экскурсия, в те времена явление весьма редкое. Остановились москвичи в Доме туриста, что был расположен тогда в здании на углу Литейного проспекта и Симеоновской улицы (ныне ул.Белинского). Большой серый дом, у которого сейчас в углу прорезан проход для пешеходов.

В Пулково поехали на машинах, — сейчас бы они выглядели смешно. Это были большие открытые рыдваны, так не схожие с современными лимузинами.

Подъехали к Пулковской горе, на которой стоит обсерватория. Поднялись по лестнице к знаменитому желтому зданию. Нас встречали какие-то

старички-ученые, — а возможно, они нам, 19-ти и 20-ти летним, казались глубокими старцами.

Ходили по помещениям. Портреты знаменитых астрономов на стенах, большие красноватые старинные шкафы с книгами, ящики с карточками, — великолепие столетнего научного храма производило впечатление. Затем осмотрели холодные, неотапливаемые помещения для астрономических приборов, металлические колонны телескопов, подвалы с сейсмографами и прочее и прочее.

Был теплый весенний день, скорее похожий на летний. С горы проглядывался, как в легком тумане, огромный город — трубы заводов, силуэты зданий, а иногда в солнечном луче на мгновение сверкал купол Исаакиевского собора.

С нами был и другой могилевский соученик — Изя Файнберг и его сестра Мирра. «И будешь ты царицей, Мирра», — шутили мы когда-то. Миловидная девушка, спокойная, скромная, и трудно было тогда предвидеть, что через несколько лет она станет работать машинисткой-секретарем в ГПУ, проработает много лет в так называемом «Большом доме», и в какие годы! 1934, 1935, 1936, 1937 и следующие. Не знаю точно, что стало с нею. Во всяком случае, она уцелела во время чисток аппарата и умерла естественной смертью, кажется, перед войной.

Визит в Пулковскую обсерваторию был связан, по-видимому, со столетием со дня ее основания. Я тогда же написал небольшую статью. Впрочем, это название звучит слишком торжественно — лучше сказать, корреспонденцию. Для «Красной газеты». Беседовал с каким-то астрономом. В те месяцы, еще студентом, я начал понемногу сотрудничать в ленинградских газетах. Корреспонденцию не напечатали.

Ехал я в Пулково тогда с большим удовольствием. В детстве, как многие, увлекался астрономией и даже питал надежды — неосуществившиеся — стать астрономом. Читал и благоговел перед Фламмарионом, Струве, Галлеем, Гершелем, был заворожен словами «меридиан», «Гринвич», «Пулково»... И вот я был в этом самом Пулково.

Прошло почти восемнадцать лет, и снова я в Пулково. Сегодня 20 декабря 1941 года. Это уже не экскурсия, я здесь как военный, офицер. Пулково — позиция, которую предстояло занять.

Из-под Шушар, где наш полк стоял вдоль Витебской железной дороги, мы вместе с другими частями дивизии передвинулись к Пулковским высотам, к переднему краю.

Был конец декабря. Я шел ночью напрямик через поле. Мороз пощипывал щеки. В небе одна за другой взвивались белые немецкие ракеты, очерчивая линию фронта. Изредка вверху рассыпались ракеты красные, а иногда повисали гигантские лампы, «зонтики», как их называли, освещая все вокруг. Светящиеся линии трассирующих пуль и снарядов дополняли картину. Напоминало все это фейерверк, правда, несколько замедленный. Слышали трескучие пулеметные очереди, нечастые и отдаленные.

Шли мы — несколько человек из штаба нашего 880 стрелкового полка — через казавшееся бесконечным заснеженное поле. Шли наискосок, от Шушар к Пулковским холмам.

Подошли к месту, когда уже начало рассветать. В темно-сером мареве виднелись разрушенные дома поселка, сбитые снарядами верхушки деревьев...

«Вот и Пулковская высота. Каменные ступени неширокой лестницы ведут наверх, к обсерватории, которой отсюда не видно... Слева остов дома, на углу у развилки дорог. Одна ведет на Детское Село, другая, огибая Пулковскую горку, — на Гатчину. В нижнем этаже этого дома, в его подвале мы и расположились на первое время.

Поднимаюсь по лестнице, как и в 1924-м году, и перед глазами открылась обсерватория, вернее то, что от нее сохранилось. От обсерватории — многие красноармейцы ее упорно называют консерваторией — неповрежденным оставался разве только один Пулковский меридиан.

Главное здание обсерватории, флигели, отдельные постройки для инструментов были разбиты немецкой авиацией еще осенью, когда враг сходу пытался ворваться в Ленинград. Издалека здания казались целыми, и лишь вблизи видны были сорванные куски крыши, провалившиеся перекрытия, скрюченные балки, пробоины в стенах. Несколько месяцев спустя каждодневный, систематический артиллерийский обстрел превратил все в бесформенную груду мусора и щебня. В декабре еще стоял скелет здания обсерватории. В фасадной стене большая дыра — след тяжелого снаряда, как вход в пещеру. В нише белая фигура какого-то греческого мудреца в хитоне, сандалиях... Возле дверей труп в ватнике, еще не убранный... Тяжко смотреть на все это. Вероятно, нечто вроде подобного чувства испытывали те, кто некогда глядел на пожар Александрийской библиотеки...

В одном из флигелей под ногами на полу слой битых стекол. Хрустящих битых стекол. Вначале как-то не обращали на это внимания. Хруст стекла под ногами стал уж очень привычным звуком.

Стекла на полу были какие-то странные, потемневшие, словно закопченные. Поднял один осколок — оказался негатив, вернее кусок негатива. Под ногами крошилась знаменитая пулковская коллекция снимков звездного неба... Звездный пулковский каталог... Гибли результаты трудов нескольких поколений русских астрономов.

В другом помещении груды книг на полу. По ним ходят, их рвут. Тут же обломки каких-то инструментов...»

Книги... В связи с ними вспоминается следующее. Жили мы неподалеку от обсерватории, в небольшом блиндаже, расположившемся под горой, защищавшей от осколков, шальных пуль. Как-то утром связной принес обычный паек, уже скудный, но не достигший еще позднейшего минимума. Высыпая в железную кружку сахарный песок из кулька, я развернул плотную бумагу, из которой он был свернут. Это была вырванная страница из какой-то книги. Цифры, формулы... Запомнилось, что упоминалась «Альфа Цефея»...

— Да там много таких, — ответил на вопрос связной, указав рукой на обсерваторию. — Повара берут, старшины берут — бумага больно хороша на кульки, товарищ лейтенант...

Вдвоем, с товарищем по полку и по университету, пошли в один из обсерваторских флигелей. В нескольких комнатах на полу на разбитых, но еще не сожженных в железных печурках полках, в остовах покореженных

взрывом шкафов валялись книги, много книг. Это были остатки библиотеки Пулковской обсерватории, которую, по-видимому, полностью не успели вывезти.

Тот, кто любит книгу, поймет наше ощущение. Неужели нельзя спасти хоть часть этого книжного развала?..

К счастью, оказалось, что один из офицеров полка собирается в Ленинград, отвозить какое-то имущество. Ему давали лошадь и телегу. В полку еще было несколько лошадей. Их охраняли строгие приказы начальства. Через несколько недель уже никакие приказы не действовали. Голод оказался сильнее приказов. От каждой раненной — случайно или не случайно — лошади через десять минут ничего не оставалось, а прибывшая комиссия могла только констатировать факт исчезновения. Но в это время еще лошадей не съели.

Я обратился к командиру с просьбой разрешить погрузить на телегу книги и отвезти в библиотеку Академии наук. Разрешили. Выписали увольнительную и все, что полагается.

Конечно, маячила и задняя мысль — дом мой совсем рядом с библиотекой...

Трудно было отбирать книги. Хотелось взять побольше, но этого сделать было нельзя — ведь телега не пустая. Отбирал те, какие мне казались наиболее ценными и редкими. В коричневых характерных переплетах XVIII века, книги начала XIX столетия, иностранные... А многие, увы, очень многие отбрасывались. Набралось несколько десятков томов. Уложили их в телегу, и отправились в путь, шагая рядом с лошадью, медленно плетущейся по дороге в город. Прямое Пулковское шоссе переходило в такой же прямой Московский проспект, — он тогда назывался проспектом Сталина; затем Сенная площадь, переулки, набережная Невы... Через Дворцовый мост на Васильевский остров... Длинный путь, который во время блокады не один раз приходилось проделывать. Сейчас с трудом могу себе представить, как удавалось это делать. За один день от Пулкова в город и обратно — голодные, обессиленные...

Добрались до серого здания библиотеки Академии наук — БАНа. В большом холодном кабинете встретил Иннокентий Иванович Яковкин — директор библиотеки. «Папа Иннокентий» — так прозвали его университетские студенты за внешнее сходство со знаменитым портретом Веласкеса, висевшим когда-то в Эрмитаже. «Папа» сильно похудел, осунулся, лицо усталое, но прежнее, умное и доброе, выражение глаз. Он говорил со мною, держа в руках одну из привезенных книг, своими худыми пальцами поглаживая ее желтый переплет. На улице меня ждали, и я скоро ушел, обещая еще привезти книги, если удастся.

— Благодарю вас, и прощайте, — сказал Иннокентий Иванович уже в дверях кабинета.

Мне больше не пришлось слышать его характерного грассирования. Не пришлось больше привозить книги. Начались бои. Потом исчезли лошади. Исчезли и остатки библиотеки...

Но вернемся к декабрю 1941 года, когда мы заняли позиции у Пулковских высот.

Вот строки из записной книжки.

«Круглое здание большого рефрактора, с когда-то раздвижным куполом, производит особенно тяжкое впечатление. Сам инструмент или то, что осталось от него, исковеркан. Здание похоже на какую-то широкую, в дырах, фабричную трубу. Вверх тянется, торчит сама металлическая труба, — она без стекол. (Может быть, их все же успели вывезти?). Сбоку у здания дерево, как бы расщепленное гигантским топором. Когда-то раздвигавшийся купол надолго остановился, и половины купола не существует. Напоминает почему-то разрушенный купол мечети Биби-Ханум, виденный некогда в Самарканде. Оставшаяся часть купола в неровных рваных отверстиях, проделанных снарядными осколками. А внутри на полу — ковер из книг, стекол, каких-то таблиц, вероятно, след звездных наблюдений.

Все, что горит, берут на растопку, по всему этому ходят, и тут же нагажено. (Вспоминаются слова одного моего приятеля Д.К.: «Война — это когда где угодно можно срать!»).

Вниз в глубокий подвал ведет крутая винтовая лестница. В подвале тепло, а кроме того, на полу развели костер.

Думается о каком-то возвращении к варварским временам.

Говорят, что при наступлении Юденича на Петроград в 1919 году, по молчаливому соглашению сторон, не стреляли по обсерватории. А теперь, через 20 лет, почти в середине XX века, немцы разрушили, а наши — доканчивают разгром...» «Когда-либо, — записал я тогда же (в декабре 1941 г.), — немцы отстроят (Цейс), но все это будет не то».

«Глядя на это разрушение, вспоминаются Лувен, Реймс — прошлой мировой войны, Лондон — нынешней...

В мартиролог науки истории войдет еще одна позорная страница — разрушение Пулковской обсерватории.

За высотой идет бой, но какой-то не интенсивный. Лениво хлопают минометы. Изредка рвутся снаряды и мины, рвутся там, где еще недавно сидели седые астрономы, смотрели на звезды, но ничего подобного не могли предвидеть. Забыли о земле, а на ней — фашизм и гибель человечества, культуры, если он победит. Насколько прав Л.Н.Толстой в своих рассуждениях об управлении боем, когда от полководца ничего не зависит. Помнится, что-то в этом роде читал (до войны) в книжке «Плутарх солгал» (автора не упомню). Там рассказывалось о генерале Жоффре, который после того, как началось сражение на Марне (в 1914 году), лег отдыхать, поскольку понимал, что сейчас уже от него ничего не зависит.

Думается, что гуманизм — великое дело. Но где же его осуществление? Не на Пулковских же высотах».

Заметки в записную книжку, заметки, на основе которых написано все предыдущее, делал вечером того же дня, когда впервые оказался в Пулково, у обсерватории, где разместился КП (командный пункт) нашего полка. Землянки были вырыты в склонах холма, со стороны противоположной вражеской линии. Там были землянки командира полка и комиссара — оба они, по странному совпадению, — Никифоровы. Комполка — майор Никифоров, кадровый военный, подтянутый, сдержанный, не крикливый и производит хорошее впечатление. Возможно, он из бывших офицеров — прапорщик или поручик в прошлом. Комиссар Никифоров — тоже спокоен